



В. С. ДЯКИН

<Предисловие>¹

В трагической истории последних десятилетий старой России фигура Григория Распутина неизменно притягивает к себе внимание профессиональных историков и писателей, всех, кто пытается разобраться в той цепи событий, которая в конечном итоге привела к крушению монархии и к Октябрьской революции. Вполне понятно поэтому, что Андрей Амальрик, много думавший над судьбами нашей страны, тоже обратился к распутинской теме.

Это был большой труд, потребовавший от автора и увлеченности работой, и кропотливости. Он собрал практически все, что было напечатано о Распутине у нас в стране и за ее пределами, использовал неопубликованные материалы, осевшие после исхода первой эмиграции в американских архивах.

Почти все, вспоминая о Распутине, делятся на две части — яростно его ненавидевших и восторженно его боготворивших. И от тех, и от других не приходится ждать правдивого описания человека, почти десять лет простоявшего рядом с тронном, человека, чья судьба неразрывно слилась с судьбой последних Романовых. Одной из целей, которые А. Амальрик ставил перед собой, и было разобраться, каким же был Распутин на самом деле, отбросить преувеличения его поклонников и ненавистников, написать портрет Распутина без «клубнички», так пышно цветущей во многих популярных романах. Много внимания, естественно, уделяет А. Амальрик Николаю II и Александре Федоровне. И здесь он стремится написать объективный портрет людей, самым своим положением оказавших очень большое влияние на судьбы России в ее последние предреволюционные десятилетия. А. Амальрику чужд

¹ Печатается по: Дякин В. С. <Предисловие> // Амальрик А. Распутин. Документальная повесть. М., 1992. С. 3–13.

тот «обличительный» тон, которым долго грешила советская литература. В то же время он свободен и от ностальгического монархического мифа, давно распространенного в эмигрантской литературе, а теперь все чаще выплескивающегося на страницы и наших изданий.

Было бы очень кстати, если бы его книгу прочли те, кто поддался ныне обаянию этого мифа. Надеюсь, она подействует на них отрезвляюще. Наконец, рассказ о Распутине закономерно побудил А. Амальрика посвятить ряд страниц выяснению версии о «хлыстовстве» Распутина и в связи с этим вообще религиозным исканиям начала века. В наше время, когда вопросы религии снова вызывают широкий интерес, эта сторона книги А. Амальрика тоже, безусловно, может привлечь читателей.

К сожалению, А. Амальрик не успел дописать свою книгу. Чтобы довести биографию Распутина до конца, в этом издании печатаются и воспоминания Феликса Юсупова, одного из убийц «старца». Воспоминания были написаны в годы, когда русская эмиграция сводила счеты — либералы видели причину падения царизма в неуступчивости Николая, крайне правые — в действиях либералов, своей оппозицией расшатавших трон. Скрещивались копыя и вокруг убийства Распутина, что и вызвало к жизни юсуповские мемуары. Юсупов очень о многом молчит. Представитель богатейшего дворянского рода, женатый на племяннице Николая, он был желанным гостем во всех великокняжеских и великосветских домах и хорошо знал настроения их хозяев. С другой стороны, он приходился по матери племянником председателю Думы М. В. Родзянко и мог быть осведомлен о том, что думает «дядя Миша». Этих сюжетов Юсупов избегает, слишком горячи они были в момент создания мемуаров. Но о самом убийстве Распутина никто не мог рассказать больше, чем князь Феликс. И хотя и здесь достаточно много недоговоренного, его воспоминания — основной источник сведений для историков, в этом их ценность.

Но, разумеется, главное в томе, который предлагается читателю, это исследование А. Амальрика. Сразу должен оговориться, что я не во всем согласен с автором. Но каждый имеет право на собственное мнение.

Первый вопрос, который встает перед каждым, кто задумывается над влиянием Распутина на Николая и Александру Федоровну, звучит так: как же могло случиться, что простой крестьянин, независимо от его личных качеств, смог так высоко вознестись и «ходить по гостиным лучше, чем другой царедворец»? Ответ на этот вопрос лежит в изучении не личности Распутина, а эволюции самодержавной власти на рубеже XIX–XX вв.

Власть неограниченного монарха огромна. Он по своей воле назначает и смещает министров и других высших чиновников, предписывая им,

какую политику проводить. Взгляды и вкусы царя оказывают большое влияние на официальную идеологию. В таких условиях личность царя имеет важнейшее значение и периодизация истории по царствованиям — не только пережиток дворянской историографии. Время Петра I, Елизаветы или Екатерины II — реальные понятия с конкретным содержанием. В XIX–XX вв. существенные повороты во внутренней политике России совпадают с восшествием на престол нового царя. Но власть неограниченного царя далеко не неограниченна. Его свобода действий стеснена бюрократической системой управления, с одной стороны, и придворным церемониалом — с другой.

Чем сложнее и разнообразнее становилась жизнь страны, тем многочисленнее и разветвленнее становилась и армия управлявших ею чиновников, тем большее влияние приобретала высшая бюрократия. В конце концов, неважно, как возникала та или иная идея. Она могла прийти в голову самому царю или ее подсказывал какой-нибудь доверенный, но не облеченный властью человек. Для того чтобы стать законом, идея должна была пройти через бюрократическую машину, быть рассмотрена в Комитете министров или в Государственном Совете. На утверждение царя предлагалось два мнения — большинства и меньшинства. Царь мог утвердить любое, но даже то, которое исходило из внесенного по указанию «сверху» предложения, могло после согласования с разными ведомствами и ранее существовавшими законами во многом отличаться от первоначального проекта. Самодержец должен был либо подписывать закон, не вполне согласованный с его пожеланиями, либо требовать нового рассмотрения, отдаваясь на милость бюрократической волокиты.

Конечно, царь мог пресечь любые возражения, безапелляционно заявив: «А я решительно другого мнения» (как это не раз делал Александр II). Но, во-первых, признание неограниченности самодержавной власти царя сочеталось в умах самых лояльных его верноподданных с убеждением, что царь морально должен прислушиваться к «голосу земли» и к своим советникам. С этим приходилось считаться, и грубоватый Александр III согласился, например, изменить одну из своих резолюций, когда государственный секретарь А. А. Половцов стал ему объяснять, что резолюция обидна для Государственного Совета и министров. Во-вторых, с усложнением экономической и политической жизни царь все чаще оказывался перед проблемами, в которых он был не в силах противопоставить свое мнение позиции министра. Времена, когда, согласно легенде, Николай I по линейке прочертил на карте трассу железной дороги между Петербургом и Москвой, минули. При обсуждении финансовых дел Николай II иногда мог лишь тоскливо спрашивать С. Ю. Витте, а почему, собственно, нельзя поступить так, как хочет он.

Управление государством с каждым царствованием требовало от монарха все больше времени и сил. Надо было выслушивать и читать всеподданнейшие доклады министров, журналы заседаний Государственного Совета и Комитета министров, отчеты губернаторов и множество других бумаг, вникать в суть вопроса, писать резолюции или просто делать какие-то указания на полях. Пусть такая резолюция нередко подсказана кем-то, стоящим рядом, в его аргументацию тоже надо вслушаться. Погрязая в рутине повседневных государственных забот, царь все больше становился хотя и самым большим, но одним из колес бюрократической машины. И ощущение этого было по самолюбию самодержца всероссийского и хозяина земли Русской.

Жизнь двора и особенно царствующей четы была подчинена жесткому церемониалу. «Рутинa, — вспоминал последний главноуправляющий е. и. в. канцелярией по принятию прошений В. И. Мамантов, — играла большую роль в строе придворной жизни, все делалось по давно заведенному шаблону, и никаких отступлений от раз принятого не допускалось». Специальные правила определяли, кто и по какому случаю может быть принят во дворце или сопровождать царя во время поездок. Каждый визит фиксировался в камер-фурьерском журнале. По средам по случаю нового назначения Николаю представлялись все, получавшие должности от командира полка и равной ей в гражданской службе. Высшие чины представляются поодиночке, остальные чохом. У Николая отличная память на лица, но кроме фразы «представляюсь по случаю назначения на...» визитеру некогда сказать что-либо еще. Не больше возможности перемолвиться словом во время больших приемов и торжественных выходов, где расписано каждое движение. Когда-то Николай I, его жена и дочери ездили на великосветские балы и даже в маскарады. Постепенно стало считаться, что царям зазорно наносить визиты подданным. Только к родне, но отношения с ней у Николая II и Александры Федоровны не заладились.

Писать прямо царю кроме родственников тоже могут только высшие сановники, причем лишь по делам, им подведомственным. Когда Н. П. Балашов, обер-егермейстер и член Государственного Совета, в декабре 1916 г. прислал Николаю письмо, посвященное ситуации в стране, Александра Федоровна возмущалась: «У него такое высокое придворное звание, и он смеет писать, когда его о том не просят!» Всеподданнейшие адреса разных организаций, не говоря уже о прошениях и письмах частных людей, шли в Канцелярию прошений и в Министерство внутренних дел. Подавляющая часть их до царя вообще не доходила. В принципе это неизбежно, нельзя же занимать время

царя всей этой почтой. Но тем самым МВД и Канцелярия прошений получали право решать, что именно из написанного ему узнает царь.

Отчасти Николай и Александра Федоровна прятались за церемониалом от неприятных им новых явлений, вторгавшихся в жизнь страны. Так, Николай не хотел допускать к царским выходам по случаю 100-летия Бородинской битвы и 300-летия дома Романовых членов нелюбимой Государственной Думы, ссылаясь на то, что в церемониале, составленном до 1906 г., Дума, естественно, не упоминается. Но в большей мере он их тяготил. Поэтому так дорожили они «маленьким домиком» Вырубовой у Царскосельского парка, где можно было встретиться с немногими друзьями или с тайными посетителями без всевидящего гофмейстерского ока.

Усиливающаяся изоляция царствующей четы, отчасти вызванная характерами Николая и Александры Федоровны, а в большей мере заформализованностью их жизни, все время побуждала Николая искать способ получать информацию неофициальным путем, от людей, далеких от бюрократии и придворной среды. Вот здесь появлялась та щель, сквозь которую в царское окружение мог проникнуть посторонний. Каким будет этот посторонний, тоже зависело не только от личных склонностей Николая.

60–80-е гг. XIX в. показали, что путь европеизации, на который Россия вступила со времен Петра, неизбежно ведет к отказу от неограниченного самодержавия. Это был магистральный путь развития человечества, вызывавший, однако, резкое отторжение всех сторонников идеи национальной исключительности России. Тем не менее время Александра II было временем своеобразного бюрократического конституционализма, когда проекты создания крайне ограниченных, но все же представительных учреждений разрабатывались крупнейшими министрами царствования. Резкий поворот во внутренней политике с приходом Александра III положил конец таким проектам, но одновременно исподволь набирает силу либерально-конституционное движение в обществе, опирающееся в первую очередь на дворянское в своем большинстве местное самоуправление — земство. Особенно заметным это движение стало уже при Николае II, в первой же публичной речи назвавшем надежды на более широкое участие земства в делах внутреннего управления «бессмысленными мечтаниями».

Но растущим конституционным настроениям нужно было противопоставить некий идеальный образ самодержавной монархии, в поисках которого идеологи самодержавия обращались к допетровской Руси. Монархия времен Алексея Михайловича (не случайно и долгожданный наследник Николая II был назван Алексеем) изображалась как время

единения царя — помазанника Божия — с Православной церковью и с народом, не отделенных друг от друга бюрократическим «средостением». Личные качества Николая, с детства воспитанного в атмосфере почитания допетровской старины и самого искавшего в ней противовеса реальной действительности европеизирующейся России, создавали условия для расцвета культа «доброе старое время». Это проявлялось и в имитации при дворе обычаев и нравов XVII в. как самим Николаем (костюмированный бал в этом стиле в феврале 1903 г. рассматривался им не как маскарад, а как первый шаг к восстановлению старомосковских костюмов и обрядов), так и наиболее ревностными его сторонниками вроде министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Это находило выражение в распространении, еще со времени Александра III, псевдорусского стиля в архитектуре, особенно церковной.

Безусловная религиозность Николая тоже хорошо работала на образ «народного царя». Впервые после полувекового перерыва пасхальные торжества 1900 г. были проведены в Москве с участием царской семьи, и в правительственном отчете специально подчеркивалось, что Николай прибыл в Москву «по священному завету родной старины». Мистические наклонности Николая и Александры Федоровны, их непрестанные поиски чудотворцев тоже совпадали с определенными религиозными исканиями конца XIX в. и одновременно вписывались в идеологические схемы защитников самодержавия. В 1903 г. по настоянию Николая и Александры Федоровны была осуществлена канонизация почитаемого многими Романовыми монаха первой половины XIX в. Серафима Саровского, считавшегося в народе чудотворцем. На канонизации присутствовала царская семья и около 150 тысяч верующих. Это дало основание газете крайне правых «Московские ведомости» утверждать, что вокруг святых мощей собралась «вся Земля Русская» и «это такое представительство, перед внушительностью которого блекнут все всевозможные всенародные голосования». Меньше всего я хотел бы быть понятым так, словно считаю публичные оказательства Николаем и Александрой Федоровной их религиозных чувств притворством и политическим расчетом. Но каждый шаг главы государства неизбежно приобретает политический смысл и используется в политических целях, как бы искривлен сам по себе он ни был.

Непосредственное участие в религиозных и юбилейных торжествах, привлекавших множество крестьян, еще сохранявших монархические чувства, не только укрепляло веру последних Романовых в любовь и преданность народа, веру, всегда составлявшую один из основных постулатов самодержавной идеологии. Оставаясь по существу царем дворянским и последовательно отстаивая интересы дворянского зем-

левладения, Николай в то же время испытывал к дворянству сложное чувство. В литературе, в том числе в книге А. Амальрика, постоянно отмечается напряженность отношений Александры Федоровны и не принявшего ее великосветского общества, что не могло не отразиться и на позиции Николая. Кроме того, он был явно задет участием дворянства в либерально-конституционном движении до и во время революции 1905 г. Неприкрытая обида звучала в письме Николая к матери в марте 1908 г. «Теперь, когда стало спокойнее, — писал он, — дворянство начало жаловаться на разные нововведения и реформы, — но спрашивается, как и чем оно помогло правительству в страшную осень 1905 г. Ровно ничем». При таком настроении абстрактная идея единения царя с народом просто требовала живого воплощения не только в эпизодических встречах во время тех или иных массовых торжеств или в телеграммах и адресах «Союза русского народа». Если обстоятельства могли сложиться так, что в царском окружении оказался бы чуждый придворным сферам человек, то наибольшими шансами на успех обладал «богомольный крестьянин». Чудотворные же способности резко увеличивали такие шансы.

Но, опять-таки, слишком велико расстояние от «простого мужика» до царя, чтобы в нормальных обстоятельствах его можно было пройти. Требовалась в той или иной мере разделявшая мистические искания царской четы среда, в которую было легче попасть, чем ко двору, прежде чем с чьей-то помощью сделать последний шаг. Такая среда была, причем в том самом великосветском и великокняжеском кругу, связи с которым у Николая и Александры Федоровны, естественно, сохранялись. Неортодоксальная религиозность и мистицизм всегда находили своих адептов в России, но особенно много их оказывалось в кризисные, переломные эпохи. Рубеж XIX–XX вв. безусловно был такой эпохой. Чудом державшийся режим нуждался в чудесах и чудотворцах.

Вот теперь достаточно было епископа Феофана, вел. князя Николая Николаевича, его жены и жены его брата — «черногорок» Станы и Милицы, чтобы продвинуть Распутина к трону, тем более что последствий этого никто заранее предвидеть не мог. Люди, выдвигавшие Распутина, ошиблись в представлениях о масштабе его личности. Они надеялись получить марионетку, авантюриста, гонящегося за жирным куском с царского стола и готового отрабатывать за этот кусок тем, кто посадил его за стол. Они получили умного, хитрого, по-крестьянски практичного и не чуждающегося всех житейских благ, которые дает близость к трону, но главное — независимого и властолюбивого человека, готового прислушиваться к советам, но не собирающегося играть роль исполнителя чужой воли.

На что же была направлена собственная воля Распутина? Здесь начинаются мои разногласия с А. Амальриком, хотя, конечно, я ни в коей мере не претендую на обладание истиной в последней инстанции. Для А. Амальрика Распутин — «сибирский странник, говоривший о любви и никому не хотевший зла» (с. 121), человек, которого чуть ли не силком вовлекали в политику те, кто пытался его использовать или на него нападал, а особенно сами царь и царица, желавшие, чтобы он «поглядел душу» того или иного сановника (с. 179). С такой оценкой мне трудно согласиться. Сам же А. Амальрик выделяет первые годы знакомства Распутина с Николаем и Александрой Федоровной как «безоблачный период его жизни, когда он как бы само собой занял место царского советника и конфиденнта, за которое остальные годы должен был жестоко бороться» (с. 107). Вот — жестоко бороться! Почему бы ему, любвеобильному страннику, не уйти в сторону, когда именно этого требовали со всех сторон, когда близость к трону грозила самой его жизни? Но он боролся, говоря о любви и не гнушаясь далекими от нее средствами. Для того, чтобы так себя вести, нужно очень любить власть или быть глубоко убежденным, что ты свыше призван к этой власти и не вправе от нее отказаться. В глубокую внутреннюю убежденность Распутина, как и в глубокую его привязанность к Николаю и даже Александре Федоровне мне поверить трудно. Перечитайте в этой книге многочисленные неуважительные высказывания его о царе, описания демонстративно грубых, на публику, телефонных разговоров с Царским Селом (даже если это инсценировки), вспомните о письмах Александры Федоровны и царевен, которые из его рук попали к Илиодору. Допустим, половину всего этого безобразия можно списать на некультурность, хотя как не припомнить об умении проявлять, когда нужно, и сдержанность, и благолепие. А ведь А. Амальрик строго придерживается по отношению к Распутину презумпции невиновности и отбрасывает самые возмутительные примеры как вызывающие сомнение.

Большое внимание уделяет А. Амальрик политическим взглядам Распутина.

Противники Распутина, — а историческая литература в основном опирается на их свидетельства, — как правило, отказывают Распутину в существовании у него политических взглядов. Разница заключается в том, что одни вследствие этого вообще преуменьшают воздействие Распутина на политическую жизнь, а другие ищут его тайных руководителей, его «штаб». К числу последних относится, например, и Феликс Юсупов. «Моему воображению, — пишет он, — рисовался чудовищный заговор против России, и в центре его стоял этот “старец”, волею неумолимого рока или игрою несчастного случая ставший опасным орудием

наших врагов». Он вспоминает о разговоре с Распутиным, в котором-де тот упоминал о своих таинственных руководителях, называя их «зелеными» или «зелененькими» (с. 292). Правда, чуть позже он описывает встречу Распутина с предполагаемыми «зелененькими», во время которой Распутин, «небрежно развалившись... сидел с важным видом и что-то им рассказывал» (с. 299). Не очень-то похоже на разговор с руководителями или даже их посланцами. Юсупова можно понять: он, монархист и родственник царя, оправдывал свое участие в убийстве, ему надо было подчеркнуть, что оно задумывалось как акт защиты страны и династии. Другие авторы, тоже писавшие о «штабе Григория Ефимовича» (вроде французского посла Мориса Палеолога), как правило, просто хотели произвести впечатление людей более осведомленных, чем это было в действительности. Но материалы полицейского наблюдения и свидетельства близко знавших Распутина людей не дают оснований выделить из его непрерывно менявшегося окружения какой-либо руководивший им «штаб». Два директора Департамента полиции, очень близко стоявший к Распутину С. П. Белецкий и его преемник Е. К. Климович, считали, что для Распутина и его окружения не существовало идейных побуждений и речь шла только об «извлечении личных выгод». На показаниях этих двух людей в большой мере держится историческая традиция.

А. Амальрик с нею не согласен. Он доказывает, что «в сущности каждый политик — “самоучка”, порой необходимо как можно более упрощенно интуитивно схватывать сущность проблемы — чем в более сложные детали входить, тем труднее будет принять решение» (с. 178). По его мнению, Распутин, «пройдя через все слои русского общества от деклассированного “дна” до верхушки аристократии», получил достаточную широту взгляда для такого интуитивного постижения сущности проблем (с. 178), а потому определенные политические взгляды, хотя и не сведенные «в законченную систему», у него были (с. 179).

Абстрактно говоря, с такой постановкой вопроса трудно спорить. Но какое же политическое исповедание веры Распутина «как лоскутное одеяло, по кусочкам, отрывкам» (с. 179) собрал и представил читателю А. Амальрик?

Основа этого исповедания — «царь и народ» (с. 179). Распутин — сторонник «сильной самодержавной власти, способной защитить “слабых” от “сильных”» (с. 181). «Он своим мужицким инстинктом понимал, что России нужна — самодержавная или какая угодно — но сильная власть, способная много переделать по-новому, в частности, покончить с земельной аристократией» (с. 182). В итоге он отнесся отрицательно к столыпинской реформе как к попытке сохранить дворянское землевладение и «был недоволен тем, что Дума не смогла или не сумела

решить земельный вопрос в интересах крестьян», «накануне революции поддержал проект принудительного отчуждения помещичьих земель» (с. 180). Дума, по его мнению, «выражала только интересы привилегированных классов» и «народная вера в царя представлялась Распутину более стабильным фактором, чем надежды на Думу» (с. 181–182). Он считал, «что один царь лучше будет управлять Россией, чем пятьсот помещиков, заводчиков, попов и профессоров» (с. 222).

Таковыми словами Распутин думать не мог. Но не вносит ли автор вместе со словами и мысли? Сноски к книге потеряны, и не всегда можно понять, насколько заслуживает доверия источник, использованный в данном месте А. Амальриком. Под проектом принудительного отчуждения подразумевается, очевидно, предложение генерала П. Г. Курлова одновременно с роспуском Думы объявить о дополнительном наделении крестьян землей. А это наделение предлагалось провести, не трогая помещичьи владения, за счет земель, отнятых у немцев-колонистов. Припугнуть помещиков принудительным отчуждением А. Д. Протопопов предложил уже после убийства Распутина. Сомнительно и стремление Распутина «покончить с земельной аристократией». Как собирался это сделать сторонник «классового мира» (с. 180)? Остается вера в самодержавие и неприязнь к Думе. Разве для того, чтобы защищать при дворе такие взгляды, надо было с кем-то «жестоко бороться»?

Но, говорит А. Амальрик, у Распутина свои, особые представления о самодержавии. В то время как Александра Федоровна понимала формулу «царь и народ» как «народ для царя», Распутин, подобно Витте, его «единственному союзнику среди государственных деятелей» (с. 177), истолковывал эту формулу как «царь для народа» (с. 179). Тему «Распутин и Витте» придется оставить в стороне, несмотря на неоднократное подчеркивание А. Амальриком близости их политических взглядов. Во-первых, это все-таки несопоставимые фигуры — крупнейший государственный деятель, изоциренный политик и полемист и необразованный крестьянин, лишь интуитивно постигающий суть проблемы в первом приближении. Во-вторых, взгляды Витте так сложны, что здесь нет места для даже упрощенного их изложения. Пути Витте, мечтавшего вернуться к власти, и Распутина действительно пересекались. Я тоже считаю, что некоторые идеи Витте могли запастись в память Распутина (например, устойчивая нелюбовь к Англии, недаром человеколюбивый «старец» так радовался гибели фельдмаршала Китченера). Но формула «царь для народа» явно не из круга понятий Витте, да и правильность такой трактовки того, что А. Амальрик считает политическими взглядами Распутина, не кажется мне доказанной.

А. Амальрик подчеркивает демократизм Распутина. «Царь и мужик протянули друг другу руки поверх голов привилегированного общества, вот что пугало», — пишет он (с. 122). Но ведь сам А. Амальрик подчеркивает, что Распутина вели наверх «национально-консервативные круги» (с. 51). Для них как раз надо было изобразить, будто царь и мужик протянули друг другу руки, это входило в тщательно создаваемый образ «народного царя», монарха допетровского времени. Другое дело — вот тут А. Амальрик совершенно прав, — что Распутин оказался неуправляем и, сколько бы ни относить соответствующие свидетельства на счет преувеличений противников, достаточно «неблаголепен». Именно потому у либеральной оппозиции оказывалась удобная возможность использовать близость Распутина ко двору для критики режима. Именно потому часть сторонников режима хотела сначала удалить «старца» от двора, а потом и убрать любым способом.

Существует понятие «черносотенный демократизм». Главный его отличительный признак — сочетание монархизма с неистребимой крестьянской тягой к помещичьей земле. Возможно, она была и у Распутина. Только проявить ее в общении с Николаем он не мог. Ощущая недостаток доказательств, А. Амальрик поворачивает свою мысль в другую сторону: Распутин «был демократом не в смысле социального и имущественного уравнивания, но признания ценности каждой личности и ее права на независимое существование — все равны перед Богом и царем» (с. 181). Все равны перед царем — это опять из самодержавного мифа о Московской Руси. Что же касается ценности каждой личности — то о Распутине ли это? Его методы «смирения гордыни» поклонниц об уважении к личности не свидетельствуют. А. Амальрика ввели в заблуждение религиозная терпимость Распутина (естественная для человека, ушедшего от ортодоксального православия) и отсутствие у него узкого национализма. Это действительно так. Но в целом и после ссоры с Гермогеном и Илиодором распутинские политические симпатии оставались в черносотенном стане. Просто в этом стане было много грызшихся между собой группировок и Распутин под конец жизни сблизился с московским Отечественным патриотическим союзом, возможно потому поддержавшим последнего любимца Распутина — А. Д. Протопопова.

Из каких бы кусочков и отрывков ни составляли мы лоскутное одеяло политического исповедания Распутина, в нем не будет ничего, кроме приверженности самодержавию в самой общей форме. Поэтому — и вот здесь А. Амальрик совершенно прав — «главной причиной растущего распутинского влияния становилась его способность внушать царю и царице уверенность в себе... и санкционировать их действия именем Бога» (с. 103). Что же касается конкретных политических советов,

то он пользовался подсказками то тех, то других более сведущих в делах государственного управления людей. И, начиная от Гермогена, многим из них забредала в голову мысль — не убрать ли ставшего, как им казалось, ненужным посредника. Так что «жестоко бороться» Распутину приходилось не за какое-то свое видение единения царя с народом, а просто за место возле царя.

Распутину была нужна власть. Не над государством — над душами людей. И чем более высокое положение занимал человек, тем больше хотелось властвовать над ним Распутину. Кроме того, он имел все основания полагать — он жив, пока его защищают царь и царица. Поэтому Распутину были важны не оттенки во взглядах людей, которых он рекомендовал на высокие посты, а их отношение к нему. Его вмешательство в государственные назначения представляло собой, по наблюдениям П. Н. Милюкова, «попытки взять политику в руки лично доверенных лиц, исключая вообще даже политические стремления, а просто вследствие постепенно растущего чувства небезопасности и потребности некоторой самообороны». Но потребность Распутина в самообороне оказывалась, по сути дела, политической платформой, заставлявшей Александру Федоровну придавать при подборе высших сановников все большее значение их готовности не просто мириться с существованием Распутина, но и «слушаться, доверять и спрашивать совета» у него. Это увеличивало самоизоляцию династии даже от тех, кто хотел ее спасти.

Конечно, Николай был обречен. История не фатальный, но закономерный процесс, и не так уж часто останавливается она перед выбором пути, как это думается некоторым сейчас. Время неограниченного самодержавия, давно миновавшее в Европе, кончалось и в России. И чем больше Николай пытался стать поперек дороги неизбежному, тем больше он его приближал. Это не значит, что все обязательно должно было случиться в феврале 1917 г. Дело ускорила война. Но война тоже была неизбежностью. Не Распутин не дал начаться ей в 1912 г., как это думает А. Амальрик, зря доверившись воспоминаниям Вырубовой (с. 185). И не смог бы Распутин остановить мировую войну. Ее готовили и Антанта, и центральные державы. Предлог нашелся бы. А война означала революцию в России, это видели многие уже тогда. И все-таки, цепляясь за Распутина, не понимая, какое впечатление, неважно даже — справедливо или несправедливо, производит этот «сибирский странник» рядом с российским тронном, Николай и Александра Федоровна, пусть ненамного, еще больше приблизили свой конец.

